Современная фантастика

Конни Уиллис

Неразведанная территория



Пожарная охрана
Конни Уиллис

Аннотация
Конни Уиллис. ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

Аннотация

1982 — Премия «Небьюла» в номинации «Короткая повесть» (Novellette).

1983 — Премия «Хьюго» в номинации «Короткая повесть» (Novellette).

Конни Уиллис
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

История победила время, которое еще ничем не было побеждено, кроме вечности.

Сэр Уолтер Рэли

20 сентября. Конечно, я тут же захотел взглянуть на камень пожарной охраны, и, естественно, его еще не установили. Его торжественно открыли в 1951 году, и его высокопреподобие настоятель Уолтер Мэтьюз произнес речь, а пока еще шел 1940 год. Я это прекрасно знал. Я ведь сходил посмотреть этот камень с дурацкой мыслью, что будет полезно обозреть место преступления. Куда полезнее, конечно, был бы ускоренный курс о Лондоне в период «Блица», не говоря уж о том, чтобы получить немножко времени на подготовку. Мне предложили обойтись и без того, и без другого.

— Путешествие во времени, мистер Бартоломью, это не поездка на метро, — сказал досточтимый мистер Дануорти, моргая за стеклами своих антикварных очков. — Либо вы отправитесь двадцатого, либо не отправитесь вовсе.

— Но я же не готов, — возразил я. — Ну послушайте! У меня ушло четыре года на подготовку для странствований со святым Павлом, а не с его собором! И вы не можете требовать, чтобы я за два дня приготовился к «Блицу» в Лондоне.

— Можем, — сказал Дануорти. — И требуем.

— Два дня! — кричал я на Киврин, мою соседку по общежитию. — И все только потому, что ка-

кой-то паршивый компьютер добавил «собор» к святому Павлу! А досточтимый Дануорти даже глазом не моргнул, когда я ему объяснил, какая произошла накладка. «Путешествие во времени, молодой человек, это не поездка на метро, — заявляет он. — Рекомендую вам подготовиться. Вы отбываете послезавтра». Не человек, а сплошная некомпетентность!

— Вовсе нет, — говорит она. — Ничего подобного! Он здесь самый лучший. И может, тебе стоит прислушаться к его словам.

А я-то ждал от Киврин хоть чуточку сочувствия. Сама она чуть не в истерику впала, когда ее отправили в Англию XIV века вместо XV. А как эти века оцениваются по шкале практики? Даже учитывая Инфекционные болезни максимум на пятерку. Блиц тянул на восьмерку, а собор святого Павла — с моим-то везением — весил полную десятку.

— По-твоему, мне следует еще раз поговорить с Дануорти?

— Да.

— А дальше что? У меня в распоряжении двое суток. Я понятия не имею ни о деньгах, ни о языке, ни об истории. Ни малейшего.

— Он хороший человек, — сказала Киврин. —

По-моему, тебе надо послушать его, пока есть такая возможность.

Старушка Киврин в своем репертуаре. Всегда кладезь сочувствия.

Из-за этого хорошего человека я и стоял сейчас в открытых дверях западного портала и таращил глаза, как провинциальный олух, каким, впрочем, мне и полагалось быть, высматривая мемориальный камень, которого там нет. Спасибо хорошему человеку! По его милости я был настолько не готов к моей практике, насколько это зависело от него.

Внутренности собора я почти не видел. Где-то в глубине мерцали свечи на аналое, а ближе по направлению ко мне двигалось смутное белое пятно. Причетник. А может, и сам высокопреподобный настоятель Мэтьюз. Я вытащил письмо моего дяди, священника в Уэльсе, которое предположительно должно было открыть доступ к настоятелю, а заодно погладил задний карман, проверяя, не потерял ли я «Микрооксфордский словарь английского языка, дополненный, с историческими приложениями». Я свистнул его из Бодлеинки, иными словами, достославной библиотеки Оксфордского университета. Конечно, во время разговора воспользоваться словарем я

не мог, но если повезет, на первых порах я как-нибудь продержусь, улавливая общий смысл, а незнакомые слова посмотрю позже.

— Вы из веэспевео? — спросил он. По виду мой ровесник, ниже меня на целую голову и заметно более худой. Почти аскетически. Что-то в нем было родственное Киврин. Он прижимал к груди нечто белое. При других обстоятельствах я бы решил, что подушку. Но при других обстоятельствах я бы понял, что мне говорят, а так у меня не было времени очистить голову от средиземноморской латыни и иудейских законов, чтобы выучить лондонский жаргон, а также правила поведения во время воздушных налетов. Всего два дня с досточтимым Дануорти, который распространялся о священном долге историка вместо того, чтобы объяснить мне, что такое веэспевео.

— Так вы из веэспевео? — повторил он.

Я чуть было все-таки не вытащил «Микрооксфорд» — Уэльс ведь почти заграница, но вроде бы в 1940 году микрофильмов еще не существовало. Веэспевео? Это словечко могло означать что угодно, включая и пожарную охрану, а в таком случае потребность ответить «нет» могла все испортить.

— Нет, — сказал я.

Внезапно он рванулся вперед мимо меня и выглянул за дверь.

— Черт! — сказал он, возвращаясь ко мне. — Куда они запропастились, ленивые буржуазные стервы!

Вот и улавливай общий смысл!

Он подозрительно прищурился на меня, словно решив, что я все-таки из веэспевео и только скрываю это.

— Собор закрыт, — сказал он наконец.

— Я Бартоломью. Настоятель Мэтьюз здесь? — спросил я, предъявляя конверт.

Он продолжал смотреть наружу, видимо, в надежде, что ленивые буржуазные стервы все-таки появятся и можно будет накинуться на них, размахивая белой штуковиной. Потом обернулся ко мне и сказал тоном гида:

— Сюда, пожалуйста, — и шагнул во мрак собора. Слава Богу, я запечатлел в памяти план собора, не то, последовав в кромешную тьму за взбешенным причетником, я не выдержал бы такой символической параллели с положением, в котором находился, и кинулся бы вон из собора через западные двери назад в Сент-Джонс-Вуд. Но я представлял, где нахожусь, и это давало спасительную зацепку. Вот сейчас мы проходим

мимо номера 26 в «Путеводителе» — картина Ханта «Свет Миру», изображающая Иисуса с фонарем, — только в темноте ее не видно. А фонарь нам очень пригодился бы.

Мой проводник остановился так внезапно, что я чуть не налетел на него, и дал выход своему бешенству:

— Мы же не требуем номеров люкс, а только десять раскладушек. Нельсону и то лучше, чем нам, ему хоть подушку под голову подложили! — Он взмахнул белой штуковиной будто факелом во мраке. (Значит, это все-таки подушка!) Мы послали им запрос полмесяца назад и до сих пор спим на проклятущих героях Трафальгара, потому что эти сучки предпочитают поить томми чаем с плюшками в буфетах Виктории, а на нас им наплевать.

Он явно не ждал, что я что-нибудь отвечу на его излияния. И к лучшему, поскольку я понимал не больше одного ключевого слова из трех.

Он зашагал вперед, в сторону от кружка света, отбрасываемого одинокой свечкой на аналое, и остановился перед черной дырой. Номер двадцать пятый — лестница на Галерею шепота под куполом и в библиотеку (закрытую для посторонних). Вверх по ступенькам, дальше по коридору,

и он опять остановился — на этот раз перед средневековой дверью.

— Мне надо вернуться высматривать их, — сказал он, постучав. — Не то они уволокут их в Аббатство. Попросите настоятеля еще раз им позвонить, хорошо? — И он зашагал назад к лестнице, по-прежнему прижимая к себе подушку, точно щит.

Постучать-то он постучал, но дверь была толщиной не меньше фута, а к тому же из дуба, и высокопреподобный настоятель явно стука не услышал. Я поднял руку, чтобы снова постучать. Очень мило! А человек, держащий точечную гранату, должен ее метнуть, но хоть ты и знаешь, что все кончится мгновенно и ты ничего не почувствуешь, а приказать себе «давай!» все равно труднее некуда. И я застыл перед дверью, проклиная на все корки исторический факультет, и досточтимого Дануорти, и навравший компьютер, из-за которых я очутился перед этой темной дверью, располагая только письмом от вымышленного дядюшки — письмом, от которого я ничего хорошего не ждал, как и от них всех. Даже прославленная Бодлеинка меня подвела. Справочный материал, который я для верности заказал через Баллилоль и главный терминал,

теперь, наверное, уже лежит у меня в комнате на расстоянии какого-то столетия. А Киврин, которая уже прошла практику и, казалось бы, должна была сыпать советами, хранила молчание, точно статуя святой, пока я не взмолился к ней о помощи.

— Ты ходил к Дануорти?

— Да. И хочешь знать, какой бесценной информацией он меня облагодетельствовал? «Молчание и смирение — вот два бесценных бремени историка». Еще он сказал, что я влюблюсь в собор святого Павла. Сияющие жемчужины мудрости из уст Учителя с большой буквы. К сожалению, мне-то надо знать, когда и куда будут падать бомбы, чтобы ни одна не угодила в меня. (Я плюхнулся на кровать.) И что ты порекомендуешь?

— Как у тебя с экстракцией? — спросила она.

Я насторожился:

— Вообще-то неплохо. Думаешь, стоит ассимилировать?

— На это нет времени. По-моему, тебе надо запечатлеть все, что удастся, прямо в долгосрочную.

— То есть эндорфины? — спросил я.

Главная беда при использовании препаратов запечатления заключается в том, что запечатлеваемая информация даже на микросекунду не

задерживается в вашей краткосрочной памяти, а это усложняет экстрагирование, не говоря уж о неприятнейших ощущениях, возникающих, когда внезапно узнаешь что-то, чего, как тебе твердо известно, ты никогда прежде не видел и не слышал.

Впрочем, жутковатые ощущения — это мелочь по сравнению с проблемой экстрагирования. Никто еще точно не установил, каким образом мозг извлекает из запасников то, что ему требуется, но в этом, несомненно, участвует краткосрочная память. Короткое, иногда микроскопическое время, на которое информация задерживается в краткосрочной памяти, нужно как будто не только для претворения ее в речь. По-видимому, весь сложный процесс отбора и извлечения базируется в краткосрочной, и без ее помощи, без помощи препаратов, запечатлевших информацию, или их искусственных заменителей извлечь ее невозможно. Я пользовался эндорфинами на экзаменах, и никаких затруднений с экстрагированием у меня не возникало, так что, пожалуй, это был единственный способ запастись всеми необходимыми сведениями за остающееся у меня время. Однако это означало, что я ничего не осознаю даже на срок, необходимый, чтобы

их забыть. Если когда эти сведения и поддадутся экстрагированию, я сразу буду знать, что к чему. Но до тех пор мне от них никакого проку не будет, словно они и не хранятся вовсе в каком-то затянутом паутиной уголке моей памяти.

— Ты ведь сумеешь экстрагировать и без стимуляторов, верно? — сказала Киврин скептичным тоном.

— А куда мне деваться.

— Под стрессом? Без сна? При низком эндорфинном уровне?

В чем, собственно, состояла ее практика? Она ни разу словом о ней не обмолвилась, а студентам спрашивать самим не положено. Стрессы в средневековье? По-моему, они там спали под стрессами как убитые.

— Надеюсь, — сказал я вслух. — Во всяком случае, попробую, раз ты полагаешь, что это поможет.

Она поглядела на меня мученическим взглядом и заявила:

— Помочь ничто не поможет.

Большое спасибо, святая Киврин Баллиольская.

Однако я тем не менее попытался. Все-таки лучше, чем сидеть в кабинете Дануорти, смотреть,

как он мигает за стеклами своих исторически точных очков и расписывает, до чего мне понравится собор святого Павла. Когда Бодлеинка не выполнила мои заказы, я истощил свой кредит и купил в магазине все кассеты на темы, какие мне только пришли в голову, — вторая мировая война, кельтская литература, история массовых переселений, путеводители и прочее. Затем я взял напрокат скоростной запечатлеватель и нагрузился. Когда я вышел из транса, меня так потрясло ощущение, что знаю я не больше, чем прежде, что я кинулся на метро в Лондон и взлетел на Ладгейт-Хилл проверить, не вызовет ли камень пожарной охраны хоть какие-нибудь воспоминания. Нет, не вызвал.

«Эндорфинный уровень у тебя еще не пришел в норму», — утешил я себя и постарался расслабиться. Куда там! Отправка на практику неумолимо надвигалась. А пули-то настоящие, мальчик! И пусть ты выпускник исторического факультета, проходящий практику, убьют тебя как миленького. В метро всю обратную дорогу я штудировал исторические справочники и продолжал их штудировать до нынешнего утра, когда подручные Дануорти явились доставить меня в Сент-Джонс-Вуд.

Тут я сунул микрооксфорд в задний карман и отправился в путь, чувствуя, что выкарабкаться смогу, только полагаясь на природную сметку, а также уповая, что в 1940 году отыщутся хоть какие-то стимуляторы. Уж первый-то день я как-нибудь сумею протянуть без осечек, думал я. И вот чуть ли не первое обращенное ко мне слово положило конец этой надежде.

Впрочем, не совсем. Вопреки совету Киврин ничем не загружать краткосрочную память я запечатлел в ней английские деньги, карту метро и карту моего Оксфорда. И пока продержался на этих сведениях. Так с какой стати ожидать подвоха от настоятеля?

Только я собрался с духом постучать, как он сам открыл дверь, и все действительно произошло быстро и безболезненно, как с точечником.

Я вручил ему письмо, а он пожал мне руку и сказал что-то вполне удобопонятное. Примерно:

— Весьма рад еще одному помощнику, Бартоломью.

Вид у него был до того усталый и измученный, что он, наверное, тут же испустил бы дух, скажи я ему, что блиц только-только начинается. Да знаю я, знаю! Держи язык за зубами. Священное молчание и пр. и пр.

— Попросим Лэнгби показать вам, что, как и где, — сказал он.

Подразумевая моего причетника с подушкой, решил я, и не ошибся. Он встретил нас внизу у лестницы, слегка отдуваясь, но ликуя.

— Раскладушки прибыли! — известил он настоятеля Мэтьюза. — Можно подумать, они оказали нам великое одолжение. Высоченные каблуки и гонор. «Из-за вас, миленький, мы остались без чая», — заявляет мне одна. «И отлично, — отвечаю. — Центнер-другой вам сбросить не помешает!»

Даже настоятель Мэтьюз словно бы не совсем его понял. И сказал:

— Вы отнесли их в крипту? — А затем познакомил нас. — Мистер Бартоломью приехал из Уэльса. Хочет присоединиться к нашим добровольцам.

(Добровольцы, а не пожарная охрана!)

Лэнгби показал мне, что, как и где, указывая на сгустки тьмы в глубоком сумраке, а затем потащил меня вниз полюбоваться десятью раскладушками, расставленными среди надгробий, а заодно указал и на саркофаг лорда Нельсона из черного мрамора.

Затем сообщил, что в первую ночь я дежурить

не буду, и порекомендовал мне лечь спать, так как сон во время воздушных налетов — самая большая ценность. Я без труда ему поверил: подушку он прижимал к груди, точно возлюбленную после долгой разлуки.

— А сирены тут слышны? — спросил я, прикидывая, не прячет ли он под ней голову.

Он поглядел на низкие каменные своды:

— Кто их слышит, а кто нет. Бринтону требуется молоко с толокном, а Бенс-Джонс не проснется, даже если на него потолок обрушится. Мне нужна подушка. Очень важно отхватить свои восемь, несмотря ни на что. Не то превратишься в ходячего мертвеца. И погибнешь.

На этой бодрой ноте он удалился, чтобы развести дежурных по постам. А подушку оставил на раскладушке, приказав, чтобы я никому не позволял к ней прикасаться. И вот я сижу в ожидании первой в моей жизни воздушной тревоги и стараюсь записать все это, пока еще не превратился в ходячего (или лежачего) мертвеца.

С помощью украденного микрооксфорда я расшифровал некоторые высказывания Лэнгби. Более или менее. Стерва — либо труп издохшего животного, либо скверная, распутная женщина. (Полагаю, что верно второе, хотя с подушкой я

напутал.) Буржуазный — эпитет для обозначения всех погрешностей среднего класса. Томми — солдат. Веэспевео я не отыскал, хотя испробовал разные возможные написания, и чуть было не махнул рукой, но тут в долгосрочной (спасибо тебе, святая Киврин!) всплыло что-то о широком распространении аббревиатур в военные годы, и я решил, что это первые буквы какого-то сложного названия. ВСПВО. Вспомогательная служба противовоздушной обороны. Ну конечно же! У кого еще требовать проклятущие раскладушки?

21 сентября. Теперь, когда я несколько свыкся с мыслью, что нахожусь здесь, и первый шок более или менее прошел, я осознал, что исторический факультет оставил меня в полном неведении, чем, собственно, я должен заниматься три месяца практики. Меня снабдили журналом для записей, письмом моего дядюшки, а также десятью фунтами довоенных денег и запузырили в прошлое. Десяти фунтов (уже уменьшившихся на стоимость проезда в поезде и в метро) должно мне хватить до конца декабря, а также на билет до Сент-Джонс-Вуда, места переброски, когда придет еще одно письмо, призывающее меня назад в Уэльс к одру занемогшего дядюшки. А до тех пор я буду жить здесь, в крипте, рядом с Нельсоном,

которого, по словам Лэнгби, заспиртовали в гробу. При прямом попадании, интересно бы знать, он вспыхнет как смоляной факел или просто тихой струйкой тления стечет на пол? Питание обеспечивается газовой горелкой, на которой можно вскипятить убогий чай или поджаривать неописуемую копченую рыбешку. В отплату за всю эту роскошь мне предстоит дежурить на крыше собора и гасить зажигательные бомбы.

Кроме того, я должен выполнить задание по практике, в чем бы оно ни заключалось. Впрочем, пока меня волнует только одно: как уцелеть до тех пор, пока не придет второе письмо от дяди и я не вернусь домой.

В ожидании, пока Лэнгби выберет время «показать мне, что к чему», я занялся подручной работой — вычистил сковороду, на которой они жарят гнусных рыбешек, снес в алтарный конец крипты складные стулья и уложил их штабелем (а то они имели обыкновение вдруг складываться посреди ночи, грохоча хуже бомб) и попробовал уснуть.

Видимо, я не принадлежу к счастливчикам, способным сладко спать во время воздушных налетов. Почти до утра я оценивал собор святого Павла с точки зрения риска. Практика тут долж-

на тянуть минимум на шестерку. Ночью я не сомневался, что она потянет на всю десятку — с криптой в эпицентре взрыва. С тем же успехом я мог бы попроситься прямо в Денвер.

Пока же самое удивительное — я видел кошку! Она меня просто заворожила, но я стараюсь не подавать вида, потому что тут эти животные вроде бы ничем необычным не считаются.

22 сентября. Все еще в крипте. Время от времени в нее влетает Лэнгби, проклиная всевозможные службы (сплошные аббревиатуры!), обещает взять меня на крыши и уносится прочь. А я переделал всю подручную работу и научился пользоваться ножным насосом. Киврин явно сомневалась в моих способностях к экстракции, но пока никаких накладок. Даже наоборот. Я поискал информацию о тушении пожаров и во всех подробностях вспомнил справочник с иллюстрациями включительно — в том числе наглядную схему, как пользоваться ножным насосом. Если рыбки подпалят лорда Нельсона, я покажу себя героем.

Происшествие вчера ночью. Сирены завыли раньше обычного, и у нас в крипте укрылись уборщицы из Сити. Одна из них прервала мой крепкий сон, завопив громче любой сирены.

Выяснилось, что она увидела мышь. Мы долго хлопали резиновыми сапогами между надгробиями и под раскладушками, пока не убедили ее, что мышь сбежала. А, вот какое задание имел в виду исторический факультет — борьба с мышами!

24 сентября. Лэнгби повел меня на экскурсию. Сначала на хоры, где я заново овладел тонкостями работы с ножным насосом, а также получил резиновые сапоги и жестяную каску. Лэнгби говорит, что коммандер Аллен раздобывает для нас асбестовые куртки, как у пожарных, но пока еще не раздобыл, так что мне придется обходиться моим пальто и шерстяным шарфом на крышах очень холодно, хотя сейчас еще сентябрь. Но воздух прямо ноябрьский, да и общее ощущение тоже — уныло, пасмурно, без намека на солнце. Вверх под купол, а оттуда на крыши, которые считаются плоскими, но просто усеяны башнями, шпилями, желобами и статуями с таким расчетом, чтобы зажигательным бомбам было где прятаться или застревать вне досягаемости. Мне показали, как засыпать зажигалку песком, прежде чем прогорит крыша и заполыхает собор. Показали и веревки, сложенные у основания купола на случай, если нужно будет залезть на одну из западных башен или на купол.

Затем снова внутрь и на Галерею шепота.

Все это время Лэнгби говорил без умолку — сыпал инструкциями, вдавался в историю собора. Перед тем как выйти на галерею, он потащил меня к южным дверям, где, поведал он, Кристофер Рен, стоя среди дымящихся развалин старого собора, попросил рабочего принести с кладбища могильный камень, чтобы отметить место будущей закладки, а на камне оказалось высечено латинское слово, переводящееся как «Я восстану вновь», и совпадение так поразило Рена, что он распорядился высечь это слово над южным входом. Лэнгби улыбался так самодовольно, словно анекдот этот не навяз в зубах любого первокурсника исторического факультета. Но вообще-то анекдот милый — если не помнишь о камне пожарной охраны.

Лэнгби погнал меня вверх по лестнице на узкий балкон Галереи шепота, где убежал далеко вперед, громогласно сообщая мне данные о размерах и акустике. Потом остановился и, глядя на стену напротив, сказал вполголоса:

— Вы так ясно слышите мой шепот благодаря форме купола. Звуковые волны усиливаются по его периметру. Во время бомбежек тут стоит такой грохот, словно мир рушится в Судный День.

Купол имеет в поперечнике сто семь футов и поднимается над нефом на восемьдесят футов.

Я посмотрел вниз. Перила куда-то исчезли, и черно-белый мраморный пол ринулся на меня снизу с ужасающей скоростью. Я уцепился за что-то передо мной и упал на колени, оглушенный, борясь с головокружением. Из-за туч выплыло солнце, и внутренность собора залило золотом. Резное дерево хоров, белые каменные колонны, металлические трубы органа — все стало золотым, золотым…

Лэнгби нагибался надо мной, стараясь поднять меня, и кричал:

— Бартоломью, что с вами? Что случилось?

Мне надо было бы сказать ему, что, разожми я руки, собор и все прошлое обрушатся на меня, а этого я допустить не могу, я же историк. Что-то я ему сказал, но что-то совсем другое, потому что Лэнгби только удвоил усилия, оторвал-таки меня от перил и оттащил на лестницу. А там дал мне повалиться на ступеньки и попятился, не говоря ни слова.

— Не понимаю, что произошло, — сказал я. — Никогда прежде я не страдал боязнью высоты.

— Вас бьет озноб! — сказал он резко. — Вам надо лечь.

И отвел меня в крипту.

25 сентября. Экстрагирование — справочник ПВО: симптомы, характерные для пострадавших при бомбежке. Стадия первая: оглушенность, бесчувственность к боли при травмах и ранениях, фразы, не имеющие смысла для посторонних. Стадия вторая: озноб, тошнота, ощущение боли, осознание утрат, возвращение к реальности. Стадия третья: болтливость, не поддающаяся контролю, стремление объяснить спасателям свое поведение под влиянием шока.

Лэнгби, безусловно, узнал симптомы, но чем он объясняет их при отсутствии бомбежки? И я не могу объяснить ему свое поведение под влиянием шока — и не только потому, что я историк.

Он ничего не сказал и назначил меня дежурить в первый раз завтра ночью так, словно ничего не произошло, и выглядит не более озабоченным, чем остальные. А те, с кем я успел познакомиться, заметно нервничают. (Согласно единственному воспоминанию в моей краткосрочной памяти, во время воздушных тревог все сохраняли удивительное спокойствие.) А с момента моего появления здесь ни единой бомбы вблизи не упало. Целью были главным образом Ист-Энд и доки.

Нынче ночью что-то говорилось о невзорвавшейся фугасной бомбе, и я задумался о том, как держался настоятель, о том, что собор закрыт, как вдруг вроде бы вспомнил, будто на всем протяжении блица он был открыт для молящихся. Как только представится возможность, попытаюсь экстрагировать сентябрьские события. Ну, а все остальное… какой у меня шанс экстрагировать нужную информацию, пока я не узнаю, что я должен тут осуществить? Если должен.

Для историка не существует ни директив, ни ограничений. Я бы мог объявить всем, что я из будущего, поверь они мне. Я бы мог убить Гитлера, доведись мне попасть в Германию. Но мог ли бы? Исторический факультет обсасывал парадокс времени и так и эдак, но аспиранты, вернувшиеся с практики, не говорят ни слова «за» или «против». Существует ли единое нерушимое прошлое или у каждого дня свое прошлое и мы, историки, изменяем его? К каким следствиям приводит то, что мы делаем, и приводит ли? И как мы осмеливаемся делать что-то, понятия не имея, чем это чревато? Должны ли мы дерзко вмешиваться, уповая, что не навлечем гибели на всех нас? Или мы должны воздерживаться от действий и стоять сложа руки, пока, если так

надо, собор святого Павла сгорает у нас на глазах дотла, лишь бы не изменить будущего?

Прекрасные вопросы, когда занимаешься за полночь. Здесь они бессмысленны. Я так же не могу допустить, чтобы собор святого Павла сгорел, как не могу убить Гитлера. Нет, вру! Мне вчера на галерее стало ясно, что я мог бы убить Гитлера, если бы поймал его, когда он поджигал собор святого Павла.

26 сентября. Сегодня познакомился с девушкой. Настоятель Мэтьюз открыл-таки собор, так что пожарная охрана занялась его уборкой, и начали заходить молящиеся. Эта девушка напомнила мне Киврин, хотя Киврин много выше и ни за что не стала бы завивать волосы в такие тугие кудряшки. У нее было заплаканное лицо. Такое выражение появилось у Киврин после того, как она отбыла практику. Средние века ее доконали. Как бы она справилась тут? Наверное, излила бы свои страхи приходскому священнику. Жаль, если у ее подобия есть такое намерение.

— Не могу ли я вам помочь? — спросил я без малейшего желания помогать.

Она как будто огорчилась.

— Значит, вам не платят? — сказала она, вытирая платком красный носик. — Я читала про

собор святого Павла, про пожарную охрану и вообще. Ну и подумала, может, здесь найдется место для меня. В столовой там или вообще. Платное место.

В ее покрасневших глазах стояли слезы.

— Боюсь, столовой у нас нет, — сказал я насколько мог мягче, если вспомнить, как Киврин вечно испытывает мое терпение. — Как и настоящего бомбоубежища. Часть охраны ночует в крипте, и, боюсь, мы здесь все добровольцы.

— Значит, ничего не выйдет, — сказала она и вытерла глаза носовым платком. — Я люблю собор, но работать бесплатно не могу, теперь, когда мой младший брат Том вернулся с фермы, куда его эвакуировали.

Видимо, я чего-то недопонимал. Вопреки всем внешним признакам уныния голос у нее звучал бодро, и заплакать она не заплакала.

— Мне надо подыскать, где нам жить. Раз Том вернулся, ночевать в метро нам нельзя.

Меня вдруг охватила безотчетная тревога, почти болезненная, которая иногда сопутствует невольной экстракции.

— В метро? — переспросил я, пытаясь нащупать воспоминание.

— Обычно на станции «Марбл-Арч», — продол-

жала она. — Том, мой брат, занимает нам место загодя, и я... — Она умолкла, поднесла платок к носу и громко чихнула. — Извините. Такой противный насморк.

Красный нос, слезящиеся глаза, чихание. Заболевание верхних дыхательных путей. Я просто чудом не попросил ее не плакать! Пока лишь редкое везение спасало меня от непростительных ошибок, и не потому только, что у меня нет возможности добраться до долгосрочной памяти. Я не запасся и половиной необходимой информации — кошка, насморк, вид собора, озаренного солнцем... Рано или поздно я споткнусь о что-нибудь мне неизвестное. Тем не менее вечером, сменившись с дежурства, я попробую экстрагировать. Хотя бы выясню, свалится ли на меня что-то, и если да, то когда именно.

Кошку я видел еще два раза. Она угольно-черная с белым пятном на груди, словно нарочно нарисованным по случаю затемнения.

27 сентября. Только что спустился с крыш, и меня все еще бьет дрожь. В начале налета бомбы в основном падали на Ист-Энд. Зрелище было грандиозное. Повсюду мечутся прожекторные лучи, в Темзе отражается небо, розовеющее заревом пожаров, зенитные снаряды рвутся, точно фейер-

верочные ракеты. Неумолчный оглушительный грохот, в который вплетается ноющее жужжание самолетов и тявканье зенитных орудий.

К полуночи бомбы начали падать все ближе и ближе с жутким воем, точно на меня накатывался поезд. Пришлось напрячь всю силу воли, чтобы не упасть ничком на крышу, но Лэнгби следил за мной, и я не хотел дать ему повод позлорадствовать, как тогда под куполом. А потому я держал голову высоко, а ведро с водой — крепко, и очень этим гордился.

Нарастающий вой бомб прекратился часа в три, а затем, через полчаса затишья, по крышам собора загремел град. Все, кроме Лэнгби, начали хватать совки и насосы, он же уставился на меня, а я уставился на зажигалку. Она упала в нескольких метрах от меня за башней с курантами. Маленькая — куда меньше, чем я их себе представлял. Всего тридцать сантиметров длиной. Она свирепо фыркала, выбрасывая зеленовато-белое пламя, которое почти достигало места, где я стоял. Минута — и она, превратившись в расплавленную массу, начнет прожигать крышу. Стена огня, крики пожарных, а потом на мили — груды белого щебня. И ничего больше. Ничего. Даже камня пожарной охраны.

Вновь повторилась Галерея шепота — я поймал себя на том, что произношу какие-то слова, и взглянул на Лэнгби. Он улыбался кривой улыбкой.

— Святой Павел сгорит, — сказал я. — И не останется ничего.

— Да, — сказал Лэнгби. — Ведь задумано именно так? Сжечь собор святого Павла? В этом суть плана?

— Чьего плана? — тупо спросил я.

— Гитлера, естественно, — ответил Лэнгби. — Кого еще, по-вашему, мог я иметь в виду? — И он небрежно взял свой насос.

Перед моими глазами словно вдруг возникла страница из справочника по ПВО. Я окружил кольцом песка бомбу, все еще полыхавшую огнем, схватил второе ведро и высыпал весь песок прямо на нее. Поднялось такое облако черного дыма, что я с трудом различал совок у себя в руке. Дым оказался таким едким, что у меня из глаз покатились слезы. Я отвернулся, утирая их рукавом, и увидел Лэнгби.

Он палец о палец не ударил, чтобы помочь мне, а теперь опять улыбнулся:

— Не такой уж глупый план, но, конечно, мы ничего подобного не допустим. Для того и создали

пожарную охрану. Для того, чтобы помешать его исполнению, верно, Бартоломью?

Теперь я знаю, зачем меня прислали на практику именно сюда: чтобы помешать Лэнгби сжечь собор дотла.

28 сентября. Пытаюсь убедить себя, что вчера ночью ошибся, неверно истолковал фразу Лэнгби. Зачем ему сжигать собор? Во всяком случае, если он не нацистский шпион. А как мог бы нацистский шпион затесаться в пожарную охрану? Тут я припомнил мое собственное подделанное письмо, и по коже у меня забегали мурашки.

Как это выяснить? Если я устрою ему проверку, задам вопрос, ответ на который в 1940 году мог знать только патриотически настроенный англичанин, то, боюсь, разоблачен буду я сам. Нет, я должен, должен наладить экстракцию.

А до тех пор буду следить за Лэнгби. Пока это не составит труда. Он как раз объявил расписание дежурств на следующие две недели. Мы с ним в одной смене.

29 сентября. Я знаю, что произошло в сентябре. Мне рассказал Лэнгби. Вчера вечером на хорах, когда мы переодевались для дежурства, он вдруг сказал:

— Они, знаете, уже пытались.

Я понятия не имел, о чем он говорит, и растерялся прямо как в первый день, когда он спросил, не из веэспевео ли я.

— Привести в исполнение план уничтожения собора. Они уже пытались. Десятого сентября. Тяжелой фугасной бомбой. Ну да вы, конечно, об этом не знаете. Вы же еще были у себя в Уэльсе.

Но я уже не слушал. Едва он упомянул тяжелую фугасную бомбу, как я все вспомнил. Она пробила мостовую и застряла в фундаменте. Команда обезвреживания попыталась удалить взрыватель, но из поврежденной трубы бил газ, тогда они решили эвакуировать всех из собора. Однако настоятель Мэтьюз отказался его покинуть, так что ее все-таки обезвредили и взорвали в Баркингских болотах. Миг — и полная экстракция.

— Команда обезвреживания спасла его в тот раз, — продолжал Лэнгби. Словно бы всегда кто-то оказывается в нужном месте.

— Да, — сказал я и отошел от него.

1 октября. Я было поверил, что вчерашняя экстракция событий десятого сентября знаменует, так сказать, прорыв в долгосрочную память.

Но я почти всю ночь пролежал на своей раскладушке, нащупывая нацистских диверсантов в соборе святого Павла, и никаких результатов.

Или мне необходимо точно знать, что именно я ищу, и только тогда придет воспоминание? Какая мне от этого польза?

Может быть, Лэнгби не нацистский шпион. Но кто же он в таком случае? Поджигатель? Сумасшедший? Крипта не слишком способствует размышлениям, поскольку могильная тишина в ней отнюдь не царит. Уборщицы переговариваются чуть ли не всю ночь напролет, а грохот рвущихся бомб почему-то кажется более страшным оттого, что он приглушен толстыми сводами. Я ловлю себя на том, что напрягаю слух в ожидании. Под утро, когда я все-таки задремал, мне приснилось прямое попадание в станцию метро — лопнувшие водопроводные трубы, тонущие люди.

4 октября. Сегодня попытался поймать кошку. Мне пришло в голову натравить ее на мышь, которая терроризирует уборщиц. И еще я хотел рассмотреть ее поближе. Я взял ведро, из которого ночью заливал раскаленные осколки зенитного снаряда. В нем еще оставалась вода, но не столько, чтобы утопить кошку, и я решил накрыть ее ведром, подсунуть под него руку, ухватить кошку, отнести ее в крипту и науськать на мышь. Но мне даже приблизиться к ней не удалось.

Я взмахнул ведром, и вода выплеснулась — самая чуточка. Мне казалось, я помнил, что кошка домашнее животное, но, видимо, тут вкралась какая-то ошибка. Широкая, благодушная морда вдруг преобразилась в жуткую маску с оттянутой к прижатым ушам кожей, а безобидные (как я считал) лапки вдруг вооружились устрашающими когтями, и кошка испустила вопль, с каким не потягалась бы никакая уборщица.

От удивления я выронил ведро, и оно откатилось к колонне. Кошка исчезла. У меня за спиной Лэнгби сказал:

— Так кошек не ловят.

— Бесспорно, — ответил я и нагнулся поднять ведро.

— Кошки ненавидят воду, — продолжал он тем же бесцветным голосом.

— А! — сказал я и прошел с ведром мимо него, направляясь на хоры. — Я не знал.

— Это знают все. Даже уэльские дураки.

8 октября. Эту неделю дежурства сдваивались — бомбежечное полнолуние. Лэнгби на крыши не поднимался, а потому я отправился искать его в соборе и увидел, что он стоит у западных дверей, разговаривая с каким-то стариком с газетой под мышкой. Вдруг старик протянул

газету Лэнгби, но тот сразу же вернул ее, а старик увидел меня и выскочил вон.

— Турист, — сказал Лэнгби. — Спрашивал, как пройти в мюзик-холл «Уиндмилл». Прочел в газете, что девицы там сногсшибательные.

Я знаю, по моему лицу было видно, что я ему не поверил. Во всяком случае, он сказал:

— У вас паршивый вид, старина. Не выспались? Я найду вам замену на первое дежурство.

— Не надо, — ответил я холодно. — Отдежурю сам. Мне нравится на крыше.

А про себя добавил: «Где я могу следить за тобой!»

Он пожал плечами и сказал:

— Пожалуй, крыша все-таки приятнее крипты. На крыше хоть услышишь ту, которая тебя накроет.

10 октября. Я думал, сдвоенные дежурства могут быть мне полезны, отвлекут, заставят забыть мою неспособность к экстрагированию. Принцип, согласно которому надо делать вид, будто не следишь за молоком, а то оно не закипит. Но бывает, что он срабатывает. Займешь чем-нибудь мысли на несколько часов — или хорошенько выспишься, — и факты всплывают на поверхность сами собой, без стимуляторов.

О том, чтобы выспаться, можно было и не мечтать. Не только уборщицы болтают без умолку, но и кошка теперь поселилась в крипте, ластится ко всем, испуская сиреноподобные звуки, и выпрашивает рыбешку. Я перетащу свою раскладушку из трансепта к Нельсону, прежде чем пойду дежурить. Он хоть и проспиртован, а помалкивает.

11 октября. Мне приснился Трафальгар. Грохотали корабельные пушки, клубился дым, сыпалась штукатурка, и Лэнгби выкрикивал мое имя. Разлепив глаза, я было подумал, что обрушились складные стулья, — сквозь дым ничего нельзя было различить.

— Иду, — откликнулся я и заковылял к Лэнгби, натягивая сапоги.

В трансепте громоздилась куча из штукатурки и складных стульев, Лэнгби торопливо ее раскапывал.

— Бартоломью! — крикнул он, отбрасывая кусок штукатурки. — Бартоломью!

Мне все еще чудился дым, и я сбегал за насосом, а потом опустился на колени рядом с Лэнгби и ухватил отломившуюся спинку стула. Она не поддалась, и тут меня осенило: под ней труп! Потянусь к куску штукатурки и прикоснусь к мертвой руке… Я сел на пятки, перебарывая тош-

ноту, а потом опять принялся рыться в куче.

Лэнгби слишком уж торопливо орудовал ножкой стула, и я ухватил его за запястье, чтобы придержать, но он дернул рукой так, словно я был обломком, который следовало отшвырнуть подальше. Потом он поднял большой пласт штукатурки, и открылся пол.

Я поглядел через плечо. Обе уборщицы испуганно жались в нише за ангелом.

— Кого вы ищете? — спросил я, трогая Лэнгби за плечо.

— Бартоломью, — ответил он, расшвыривая мусор.

Его руки, облепленные серой пылью, кровоточили.

— Вот я, — сказал я. — Цел и невредим. — Тут я поперхнулся дымком пыли. — Я переставил раскладушку в другое место.

Он резко обернулся к уборщицам и спросил с полным хладнокровием:

— Так что тут под штукатуркой?

— Только газовая горелка, — робко ответила одна из глубины ниши. — И бумажник миссис Голбрейт.

Лэнгби начал шарить в обломках и откопал их. Из горелки шел газ. Огонь, естественно, потух.

— Все-таки вы спасли собор и меня, — заметил я, стоя в одном белье, но в сапогах и держа бесполезный насос. — Мы все могли бы задохнуться от газа.

— Мне не следовало вас спасать, — сказал он.

Стадия первая: оглушенность, бесчувственность к боли при травмах и ранениях, фразы, не имеющие смысла для посторонних. Он еще не сознает, что его руки все в глубоких царапинах, он не вспомнит того, что сказал. Он сказал, что ему не следовало спасать мне жизнь.

— Мне не следовало бы вас спасать, — повторил он. — Я обязан думать о своем долге.

— У вас все руки в крови, — сказал я резко. — Вам надо лечь!

Говорил я тем же тоном, какой был у него тогда на галерее.

13 октября. Это была фугасная бомба. Она пробила дыру в хорах, некоторые мраморные статуи разбиты, но свод крипты не обрушился вопреки тому, что мне было почудилось. Только штукатурка местами осыпалась.

Не думаю, что Лэнгби помнит о своих словах. Это должно обеспечить мне некоторое преимущество: ведь теперь я знаю, откуда грозит опасность, и могу быть уверен, что она не подстерегает где-

то еще. Только что толку, если мне неизвестно, что он сделает и когда.

Уж наверное, факты, касающиеся этой бомбы, хранятся в моей долгосрочной, но даже обрушившаяся штукатурка не вышибла их наружу на этот раз. Сейчас я даже не пытаюсь экстрагировать, а просто лежу в темноте и жду, пока на меня не обвалится свод. И вспоминаю, как Лэнгби спас мне жизнь.

15 октября. Сегодня опять приходила та девушка. Насморк не прошел, но платное место она получила. Смотреть на нее было одно удовольствие: щегольская форма, туфли с открытыми носками, а лицо обрамляют тщательно завитые кудряшки. Мы все еще убираем мусор после бомбы, и Лэнгби отправился с Алленом за досками для хоров, а потому я спокойно подметал и слушал ее болтовню. От пыли она расчихалась, однако теперь я твердо знал, что с ней.

Она сообщила, что ее зовут Энола и что она устроилась в женскую добровольческую службу: заведует передвижным пунктом питания — из тех, что посылаются на пожары. И пришла она — только вообразить! — чтобы поблагодарить меня за эту работу. По ее словам, когда она объяснила, что при соборе нет настоящего бомбоубежища с

пунктом питания, ей поручили участок в Сити.

— Ну и когда я окажусь поблизости, то буду забегать, рассказывать вам, что у меня и как, верно?

Она и ее брат Том все еще ночуют в метро. Я спросил, безопасно ли там, а она ответила, что навряд ли, зато там хотя бы не услышишь ту, которая тебя накроет, а это уже счастье.

18 октября. До того устал, что даже пишу с трудом. Девять зажигалок за ночь и бомба на парашюте, которая грозила опуститься на купол, но тут ветер отнес парашют в сторону. Всего во время моих дежурств я погасил их двадцать, не меньше, и помогал другим гасить их десятки и десятки. Но что толку? Еще одна зажигалка в ту секунду, когда Лэнгби останется без присмотра, — и все насмарку.

Вот отчасти почему меня одолевает такая усталость. Каждую ночь я надрываюсь, исполняя свои прямые обязанности, следя за Лэнгби и стараясь замечать каждую зажигалку. А после спускаюсь в крипту и терзаю себя, пытаясь экстрагировать что-нибудь о диверсантах, пожарах и соборе святого Павла осенью 1940 года, ну хоть что-нибудь! Мучаюсь, потому что делаю слишком мало, но не знаю, что еще я мог бы сделать. Без экстраги-

рования я так же беспомощен, как бедные люди вокруг, не знающие, что принесет им завтра.

Если придется, буду заниматься тем, чем занимаюсь, пока меня не отзовут домой. Он не сможет сжечь собор, пока я тут, чтобы гасить зажигалки. «Я обязан думать о своем долге!» — сказал Лэнгби в крипте.

А я — о своем!

21 октября. После взрыва прошло две недели, а я только сейчас сообразил, что с той ночи мы ни разу не видели кошки. Под штукатуркой она не погибла. Когда мы с Лэнгби убедились, что там никого нет, то для верности перебрали мусор еще дважды. Но ведь она могла быть и на хорах!

Старик Бенс-Джонс советует не переживать.

— Ничего с ней не случилось, — сказал он. — Немцы могут сровнять Лондон с землей, но кошки высыпят им навстречу всей оравой. А почему? Да потому, что они никого не любят. Половина нас гибнет как раз поэтому. Ночи две назад старушка в Степни погибла, стараясь спасти свою кошку. А чертова тварь отсиживалась в бомбоубежище.

— Так где же наша?

— В безопасном месте, можете не сомневаться. Раз она ушла из собора, значит, нас прихлопнет. Старая примета, будто крысы бегут с тонущего

корабля, глубокое заблуждение. Бегут-то бегут, да только не крысы, а кошки.

25 октября. Снова появился турист Лэнгби. Вряд ли он все еще разыскивает мюзик-холл. И опять под мышкой у него была газета. Он спросил Лэнгби. Но тот с Алленом в другом конце города пытался раздобыть асбестовые куртки. Но я разглядел название газеты. «Уоркер». Нацистская рабочая газета?

2 ноября. Я провел на крышах целую неделю, помогая рабочим, на редкость безруким, заделывать дыру, оставленную бомбой. Они просто безобразничали. У края оставили зияющее отверстие, в которое может свободно провалиться человек, и утверждают, что ничего страшного: свалитесь-то вы не на пол, а на перекрытия и «живы останетесь». И не желают понять, что зажигалка там останется незамеченной.

А Лэнгби ничего другого и не надо. Ему даже не придется поджигать собор. Достаточно устроить так, чтобы одна-единственная зажигалка горела без помех до той секунды, когда уже поздно будет ее гасить.

Ничего не добившись от рабочих, я спустился вниз пожаловаться Мэтьюзу. И увидел за колонной Лэнгби с туристом возле окна. Лэнгби держал

газету и что-то ему говорил. Когда я час спустя сбежал по лестнице из библиотеки, они все еще были там. Отверстие тоже никуда не делось. Мэтьюз сказал, что мы закроем его досками и будем надеяться на лучшее.

5 ноября. Я оставил все попытки экстрагировать. Я до того не высыпаюсь, что не способен извлечь сведения о газете, название которой знаю. Сдвоенные дежурства стали правилом. Уборщицы покинули нас, как и кошка, а потому в крипте тихо, но спать я не могу.

Стоит мне задремать, и начинаются сны. Вчера мне приснилось, что Киврин стоит на крыше, одетая как святая. «Каким было твое задание на практике? — спросил я. — Что ты должна была установить?»

Она вытерла нос платком и ответила: «Две вещи. Во-первых (тут она замолчала и чихнула), не ночуй в метро».

У меня остается одна надежда — найти искусственный стимулятор и вызвать транс. Загвоздка в том, что время искусственных эндорфинов, да и галлюциногенов, еще не наступило. Алкоголь, бесспорно, наличествует, но мне надо что-нибудь покрепче эля, единственного алкогольного напитка, название которого мне известно. Спросить

у других дежурных я не решаюсь. Лэнгби и так относится ко мне с подозрением. Опять за микрооксфорд в поисках неизвестного мне слова.

11 ноября. Кошка вернулась. Лэнгби снова отправился с Алленом выбивать асбестовые куртки, а потому я решил, что можно без опасений покинуть собор. Я отправился в бакалею за съестными припасами, а также в надежде подобрать стимулятор. Час был уже поздний, и сирены завыли прежде, чем я дошел до Чипсайда. Однако до темноты налетов обычно не бывает. Времени на покупки ушло порядком, и еще больше — на то, чтобы собраться с духом и спросить, есть ли у него алкоголь. (Он ответил, что мне надо обратиться в пивную.) И, выйдя на улицу, я словно провалился в черную яму. И уже понятия не имел, в какой стороне находится собор, где улица да и бакалея, откуда я только что вышел. Я стоял на том, что перестало быть тротуаром, сжимая пакет с рыбешкой и хлебом в руке, которую не разглядел бы, даже поднеся ее к лицу. Я покрепче стянул шарф, ожидая, пока мои глаза попривыкнут к темноте. Но не было хотя бы слабенького света, который они могли бы уловить. Я бы обрадовался даже луне, хотя в соборе все дежурные ее клянут и называют пособницей

Гитлера. И даже автобусу — закрашенные фары все-таки отбросили бы достаточно света, чтобы я сориентировался. Или прожекторным лучам в небе. Или вспышке зенитного снаряда. Ну хоть чему-нибудь.

И тут я действительно увидел автобус — две узкие желтые полоски вдали. Я шагнул в сторону и чуть не слетел с тротуара. Но из этого следовало, что автобус стоит поперек улицы и, значит, автобусом быть не может. Совсем рядом мяукнула кошка и потерлась о мою ногу. Я посмотрел вниз — желтые огоньки, которые принял было за автобусные фары. Вот ее глаза какой-то свет улавливали — хотя я мог бы поклясться, что на мили вокруг ни малейшего света не было — и отражали его прямо на меня.

— Старушка, тебя заберут за такое нарушение затемнения, — сказал я. Или на тебя прицельно сбросят бомбу.

Внезапно мир озарился. Прожекторы ударили лучами в небо, и заблестела Темза, указывая мне путь домой.

— Пришла за мной, старушка? — весело спросил я. — Где ты пропадала? Поняла, что у нас кончилась рыбка? Вот это истинная верность!

Я разговаривал с ней всю обратную дорогу до

дома и выдал ей полрыбешки за спасение моей жизни. Бенс-Джонс сказал, что к бакалейной ее привлек запах молока.

13 ноября. Мне приснилось, что я заблудился в затемнении. Я поднес руки к лицу и не увидел их, а потом пришел Дануорти и посветил на меня карманным фонариком. Но увидел я только, откуда иду, а не куда.

«Какая им от него польза? — сказал я. — Свет им нужен, чтобы видеть, куда они идут».

«Даже свет от Темзы? Даже свет пожаров и рвущихся зенитных снарядов?» сказал Дануорти.

«Да! Что угодно, лишь бы не эта жуткая тьма».

Он подошел, чтобы отдать мне фонарик. Только не карманный электрический, а фонарь Христа с хантовской картины в южном приделе собора.

Я посветил на край тротуара, чтобы отыскать дорогу домой, но свет лег на камень пожарной охраны, и я сразу задул огонек.

20 ноября. Сегодня я попробовал поговорить с Лэнгби.

— А я видел, как вы беседовали с этим пожилым джентльменом.

Фраза прозвучала как обвинение, чего я и хотел. Пусть подумает, что я обо всем догадываюсь, и откажется от своих планов, в чем бы они ни

заключались.

— Читал, — сказал он, — а не беседовал.

Мы разговаривали на хорах, где он укладывал мешки с песком.

— Знаю! Я видел, как вы читали! — заявил я воинственно, и он выронил мешок из рук.

— Ну и что? — сказал он, выпрямляясь. — У нас свободная страна. Я могу читать старику, как вы можете чесать языком с вашей стервочкой из ЖДС.

— И что же вы читали?

— То, что его интересовало. Он старик. И привык, возвращаясь с работы, выпивать рюмочку коньяку, слушая, как жена читает ему газету. Она погибла в бомбежку. Теперь я читаю ему. И не вижу, какое вам дело.

Его слова прозвучали искренне. Ложь была бы продуманно небрежной, и я бы ему поверил, если бы не слышал однажды искренность в его голосе. Тогда, в крипте. После падения бомбы.

— Я думал, он турист и интересуется дорогой в мюзик-холл, — сказал я.

Лэнгби всего секунду смотрел на меня с недоумением, а потом сказал:

— А, да! Он дал мне газету, чтобы я прочел ему адрес.

Очень ловко! Я и не догадался, что старик сам прочесть адрес не мог! Что же, достаточно! Я понял, что он лжет.

А он положил мешок с песком почти мне на ногу.

— Вам, конечно, это трудно понять, верно? Добрый поступок, и только.

— Да, — ответил я холодно. — Конечно.

Все это не доказательство. И он ни о чем не проговорился, разве что назвал возможный стимулятор. Не могу же я пойти к настоятелю Мэтьюзу и обвинить Лэнгби в том, что он читает вслух газету!

Я выждал, пока он не кончил возиться на хорах и не спустился в крипту. А тогда выволок мешок на крышу к дыре. Доски пока держатся, но все обходят их стороной, точно могилу. Я вспорол мешок и смотрел, как песок сыплется в отверстие. Если Лэнгби решит, что это самое удобное место для зажигалки, может быть, в песке она погаснет.

21 ноября. Я отдал Эноле часть «дядюшкиных» денег и попросил купить мне коньяка. Она замялась, чего я никак не ожидал (видимо, это чревато какими-то социальными сложностями), но потом обещала.

Не понимаю, зачем она приходила. Начала было рассказывать про своего брата, про какие-то его проказы в метро, и как ему влетело от полицейского, но ушла, так и не докончив свою историю, после того как я попросил ее купить коньяк.

25 ноября. Приходила Энола, но без коньяка. Она на несколько дней уезжает в Бат к тетке. Ну, во всяком случае, во время налетов я смогу не опасаться за нее. Она докончила историю про Тома и добавила, что надеется оставить его у тетки до конца бомбежек, но не уверена, что та согласится.

Юный Том, видимо, не столько симпатичный проказник, сколько почти юный преступник. На станции «Бэнк-стрит» его дважды ловили, когда он залезал в чужие карманы, вот им и пришлось перебраться в «Марбл-Арч». Я постарался утешить ее, как смог. Повторял, что у всех мальчиков бывают такие периоды. По правде говоря, мне хотелось заверить ее, что она может о нем не тревожиться. Судя по всему, юный Том принадлежит к тем, кто выживает в самых экстремальных условиях, как моя кошка, как Лэнгби. Полное равнодушие ко всем, кроме себя, и все основания пережить блиц, а затем преуспеть в жизни.

Тут я спросил, купила ли она коньяк.

Она уставилась на свои туфли без носков и расстроенно пробормотала:

— Я думала, вы про это забыли.

Я тут же сочинил, что дежурные по очереди покупают бутылку на всех, и она словно бы чуть повеселела, но не исключено, что она использует поездку в Бат как предлог, чтобы не исполнить моей просьбы. Придется мне самому покинуть собор и купить коньяк. Однако оставить Лэнгби без присмотра слишком рискованно. Я взял с нее обещание принести коньяк сегодня же до ее отъезда. Но она еще не вернулась, а сигнал воздушной тревоги уже дали.

26 ноября. Энолы все нет, а их поезд, по ее словам, отходит в полдень. Наверное, мне следует радоваться, что она хотя бы благополучно выбралась из Лондона. Может, в Бате она отделается от своего насморка.

Сегодня вечером забежали девушки из ЖДС забрать у нас «временно» половину раскладушек и рассказали нам про то, во что превратилось наземное бомбоубежище после прямого попадания. Четверо убитых, двенадцать раненых. Случилось это в Ист-Энде.

— Хорошо, что хоть не в станцию метро, — за-

кончила она. — Вот тогда бы такое было, дальше некуда. Верно?

30 ноября. Мне приснилось, что я захватил кошку с собой в Сент-Джонс-Вуд.

«Это спасательная экспедиция?» — спросил Дануорти.

«Нет, сэр, — ответил я с гордостью. — Я отгадал цель моей практики. Установить идеал выживаемости. Закаленность, находчивость, эгоизм. Вот единственный безупречный образчик. Лэнгби мне, как вам известно, пришлось убить, чтобы он не сжег собор святого Павла. Брат Энолы уехал в Бат, а остальные не дотягивают до эталона. Энола носит туфли без носков зимой, спит в метро и закручивает волосы на металлические защипки, чтобы они вились. Ей блица не пережить».

А Дануорти сказал: «Может быть, вам следовало ее спасти. Как, вы сказали, ее имя?»

— Киврин, — ответил я и проснулся, дрожа от холода.

5 декабря. Мне приснилось, что у Лэнгби есть точечная граната. Он нес ее под мышкой в оберточной бумаге, будто пакет: вышел из метро на станции «Собор святого Павла» и направился вверх по Ладгейт-Хиллу к западным дверям.

«Так нечестно! — сказал я, протягивая руку,

чтобы его остановить. Сегодня пожарная охрана не дежурит».

Он прижал гранату к груди, точно подушку.

«Все ваша вина!» — сказал он и, прежде чем я успел схватить ведро и насос, швырнул ее в открытые двери.

Точечные гранаты изобрели только на самом исходе XX века, и прошло еще десять лет, прежде чем низвергнутые коммунисты добрались до них и модифицировали настолько, что их стали носить под мышкой. Пакетец, который сметет Сити с лица земли на четверть мили вокруг.

Слава Богу, что хоть этот сон не сбудется.

Во сне утро было солнечным, и правда, когда я сменялся с дежурства, впервые за несколько недель в небе сияло солнце. Я спустился в крипту, а потом снова поднялся наверх, дважды обошел крыши, потом лестницы и стены снаружи, заглядывая во все укромные закоулки, где зажигалка могла остаться незамеченной. После этого у меня отлегло от сердца, но едва я заснул, как снова увидел сон — на этот раз пожар, а Лэнгби смотрел на огонь и улыбался.

15 декабря. Утром я чуть не наступил на кошку. Всю ночь налет следовал за налетом, но по большей части в направлении Каннинг-Тауна, а на

крыши собора попаданий почти не было. Однако кошка лежала мертвая. Я нашел ее на ступеньках, когда утром отправился в свой личный обход. Удар воздушной волны. На теле ни малейших повреждений, только белое пятно на груди, такое удобное во время затемнения. Но едва я взял ее на руки, под шкуркой она словно превратилась в студень.

Я не знал, как поступить с ней. На одно безумное мгновение я решил попросить у Мэтьюза разрешения похоронить ее в крипте. Почетная гибель на войне! Трафальгар, Ватерлоо, Лондон. Смерть в сражении. В конце концов я завернул ее в шарф, спустился с Ладгейт-Хилла и закопал ее в мусор внутри выпотрошенного бомбой дома. Какой толк? Мусор не укроет ее от собак или крыс, а другого шарфа мне взять негде — «дядюшкины» деньги почти все истрачены.

И зря я рассиживаюсь тут. Закоулки я не проверил и остальные лестницы тоже. А где-то притаилась несработавшая зажигалка, или замедленного действия, или еще что-нибудь в том же роде.

Прибыв сюда, я ощущал себя доблестным защитником, спасателем прошлого. Но у меня ничего не ладится. Хорошо хоть, что Энолы тут

нет. Если бы я мог отправить в Бат на сохранение весь собор! Вчера ночью обошлось почти без налетов. Бенс-Джонс говорил, что кошки выживают при любых обстоятельствах. Что, если она шла за мной? Чтобы проводить меня вниз? А все бомбы падали на Каннинг-Таун.

16 декабря. Энола уже неделю как вернулась. Увидев ее на ступеньках у западных дверей, где я нашел кошку, и сообразив, что она опять ночует на станции «Марбл-Арч», а вовсе не находится вне опасности, я был оглушен.

— Я думал, вы в Бате! — вырвалось у меня.

— Тетя согласилась взять Тома, но без меня. У нее полон дом эвакуированных детей. От них с ума можно сойти. А где ваш шарф? Тут на холме такой холодище!

— Мне… — пробормотал я и замялся, не в силах сказать правду. — Я его потерял.

— Другого вы не купите! Вот-вот введут талоны на одежду. И на шерсть тоже. Другого такого у вас не будет.

— Знаю, — ответил я, моргая.

— Терять хорошие вещи! — сказала она. — Да это же преступление, если хотите знать!

По-моему, я ничего не ответил, просто повернулся и ушел, опустив голову, высматривать

бомбы и мертвых животных.

20 декабря. Лэнгби не нацист. Он коммунист. Рука не поворачивается написать это. Коммунист!

Уборщица нашла за колонной номер «Уоркера» и отнесла его в крипту, как раз когда мы спускались туда после смены.

— Чертовы коммунисты! — сказал Бенс-Джонс. — Пособники Гитлера. Коммунисты поносят короля, сеют смуту в убежищах. Предатели — вот они кто!

— Англию они любят не меньше вашего, — возразила уборщица.

— Никого они не любят, кроме себя, эгоисты чертовы! Не удивлюсь, если выяснится, что они названивают Гитлеру по телефону: «Але, Адольф! Бомбы надо вот куда кидать!»

Чайник на горелке присвистнул. Уборщица встала, налила кипяток в щербатый чайничек для заварки и снова села.

— Ну, пусть они говорят, что думают, это же еще не значит, что они сожгут святого Павла, верно?

— Абсолютно верно, — сказал Лэнгби, спускаясь по лестнице. Он сел, стащил резиновые сапоги и вытянул ноги в шерстяных носках. — Так кто же не сжег святого Павла?

— Коммунисты, — ответил Бенс-Джонс, глядя на него в упор, и мне пришло в голову, что и он, возможно, относится к Лэнгби с подозрением.

Но тот и бровью не повел.

— На вашем месте я бы не стал тревожиться из-за них. Изо всех сил пока стараются его сжечь немцы. Уже шесть зажигалок, и одна чуть не угодила в дыру над хорами. — Он протянул чашку уборщице, и она налила ему чаю.

Мне хотелось убить его, швырнуть в пыль и мусор на полу крипты, под растерянными взглядами Бенс-Джонса и уборщицы. Хотелось крикнуть, предупреждая их и остальных дежурных: «А вы знаете, что сделали коммунисты? — крикнул бы я. — Знаете? Мы должны его остановить!» Я даже вскочил и шагнул туда, где он сидел, развалясь, вытянув ноги, все еще в асбестовой куртке.

И от мысли о залитой солнцем галерее и о коммунисте, выходящем из метро, небрежно зажав под мышкой пакет, я вновь ощутил тошноту, беспомощность и горечь своей вины.

Я опять присел на край раскладушки и попытался сообразить, что я все-таки мог бы сделать.

Они не отдают себе отчета в опасности. Даже Бенс-Джонс, сколько он ни твердит о предателях, на самом деле считает их способными лишь по-

носить короля. Они тут не знают, не могут знать, во что превратятся коммунисты. Сталин скоро станет союзником. Коммунизм станет синонимом России для них. Они же ничего не слыхали ни про Каринского, ни про Новую Россию, ни про все то, из-за чего слово «коммунист» будет звучать как «чудовище». И никогда не узнают. К тому времени, когда коммунисты уподобятся тому, чему уподобятся, пожарная охрана исчезнет. Только мне понятно, каково это услышать наименование «коммунист» здесь, в соборе святого Павла.

Коммунист! Я должен был бы догадаться. Должен!

22 декабря. Опять сдвоенные дежурства. Я совсем не сплю и еле держусь на ногах. Сегодня утром чуть было не провалился в дыру. Еле-еле успел удержаться, упав на колени. Эндорфинный уровень у меня дико скачет, и совершенно очевидно, что мне необходимо выспаться, пока я окончательно не превратился в ходячего мертвеца, как выражается Лэнгби.

Если бы мне удалось раздобыть стимулятор, думаю, транс я бы сумел вызвать, каким бы скверным ни было мое состояние. Но я не могу отлучиться даже в пивную. Лэнгби почти не

покидает крыш, выжидая удобного момента. Когда придет Энола, надо во что бы то ни стало уговорить ее принести мне коньяк. Остаются считанные дни.

28 декабря. Сегодня утром пришла Энола. Я в западном портале возился с рождественской елкой — ее три ночи кряду опрокидывало воздушной волной. Дерево я установил как следует и нагибался, подбирая мишуру, и вдруг из тумана появилась Энола, точно веселая святая. Быстро наклонившись, она чмокнула меня в щеку. Потом выпрямилась — красноносенькая из-за вечного насморка — и протянула мне коробку в цветной обертке.

— Счастливого Рождества! — сказала она. — Нука посмотрите, что там. Это подарок!

Рефлексы у меня совсем никуда. Я понимал, что коробка плоская и бутылка коньяка никак в ней не поместится. И все-таки я понадеялся, что Энола вспомнила и принесла мне мое спасение.

— Вы чудо! — сказал я, срывая обертку.

Шарф! Из серой шерсти. Я таращился на него добрые полминуты, не понимал, что это такое.

— Где коньяк? — спросил я.

Ее словно током ударило. Нос покраснел еще больше, на глаза навернулись слезы.

— Шарф вам нужнее. Талонов на одежду у вас нет, а вы все время под открытым небом. В такой жуткий холод!

— Мне необходим коньяк! — сказал я с бешенством.

— Я хотела как лучше, — начала она, но я ее перебил.

— Как лучше? Я попросил вас купить коньяк. И не помню, будто хоть раз упомянул, что нуждаюсь в шарфе.

Я сунул шарф ей обратно и принялся распутывать гирлянду цветных лампочек, которые разбились, когда елка упала.

Она приняла вид оскорбленной святой, который так удается Киврин.

— Я все время беспокоюсь о вас на этих крышах! — выпалила она. — Вы же знаете, они целятся в собор. И река так близко! Я подумала, вам не следует пить. Я… Это преступление так пренебрегать собой, когда они изо всех сил стараются убить нас всех. Получается, будто вы с ними заодно! Я так боюсь, что приду в собор, а вас нет…

— А шарф мне для чего? Держать над головой, когда падают бомбы?

Она повернулась, побежала и растворилась в

сером тумане, едва спустилась на две ступеньки. Я кинулся за ней, споткнулся о гирлянду, которую продолжал держать, и покатился вниз по ступенькам.

Мне помог подняться Лэнгби.

— Снимаю вас с дежурства, — сказал он мрачно.

— По какому праву?

— А по такому. Я не хочу, чтобы на крышах рядом со мной толклись ходячие мертвецы.

Я позволил ему отвести меня в крипту, напоить чаем и уложить на раскладушку — очень-очень заботливо. Ничем не выдавая, что он только этого и дожидался. Ничего, полежу до сирен. А тогда поднимусь на крыши, и он уже не посмеет отослать меня вниз, побоится вызвать подозрения. Знаете, что он сказал, прежде чем уйти в асбестовой куртке и резиновых сапогах самоотверженный член пожарной охраны?

— Я хочу, чтобы вы выспались!

Как будто я смогу заснуть, пока он на крыше! У меня нет желания сгореть заживо!

30 декабря. Меня разбудили сирены, и старик Бенс-Джонс сказал:

— Ну, наверное, это пошло вам на пользу. Вы ведь проспали круглые сутки!

— Какое сегодня число? — спросил я, натягивая сапоги.

— Двадцать девятое, — ответил он, и я метнулся к двери. — Не спешите так. Они сегодня припоздонились. Может, и вовсе не прилетят. Что было бы очень удачно. Ведь сейчас отлив.

Я остановился у двери на лестницу, упершись ладонью в прохладную каменную стену:

— Что с собором?

— Стоит как стоял, — ответил он. — Видели скверный сон?

— Да, — ответил я, вспоминая все скверные сны прошлых недель: мертвая кошка у меня на руках в Сент-Джонс-Вуде; Лэнгби с пакетом и «Уоркером» под мышкой; камень пожарной охраны, озаренный фонарем Христа… И тут я сообразил, что на этот раз никаких снов не видел, а был погружен в забытье, о котором мечтал, которое должно было навести меня на воспоминания.

И тут я вспомнил. Не собор святого Павла, сожженный дотла коммунистами, а газетный заголовок: «Прямое попадание в „Марбл-Арч“. Восемнадцать погибших». Дата оставалась неясной. Четко виделся только год. 1940. А от 1940 года оставалось ровно два дня. Я схватил куртку и шарф, выскочил из крипты и помчался по мра-

морному полу к дверям.

— Куда это вы, черт побери? — крикнул Лэнгби, невидимый в сумраке.

— Надо спасти Энолу, — ответил я, и мой голос эхом отозвался под темными сводами. — «Марбл-Арч» разбомбят.

— Вы обязаны остаться, — крикнул он мне вслед с того места, где установят камень пожарной охраны. — Идет отлив, ты, грязный…

Остальное я не расслышал, так как уже сбежал по ступенькам и прыгнул в такси, на которое ушли почти все деньги, которые я тщательно берег, чтобы было на что доехать до Сент-Джонс-Вуда. Когда мы выехали на Оксфорд-стрит, зарявкали зенитки, и шофер отказался везти меня дальше. Я вылез из машины в непроглядную тьму и понял, что не успеваю.

Взрыв. Энола распростерта на ступеньках, ведущих в метро. На ногах туфли без носков, на теле ни раны, ни ссадины. Я пробую ее поднять. Под кожей она как студень. И я заверну ее в шарф, который она мне подарила. Я опоздал! Вернулся на сто лет назад для того, чтобы опоздать ее спасти.

Последние кварталы я пробежал бегом, ориентируясь на зенитную батарею в Гайд-Парке, и скатился по ступенькам «Марбл-Арч». Женщина

в кассе забрала мой последний шиллинг за билет до станции «Собор святого Павла». Я сунул его в карман и бросился к лестнице.

— Бегать запрещено, — сказала женщина невозмутимо. — Налево, пожалуйста.

Правый вход был перегорожен деревянным барьером, металлические двери закрыты и замкнуты цепью. Доску с названием станции перечеркивал косой крест липкого пластыря, а к барьеру был прибит указатель с надписью: «Ко всем поездам». Стрелка под ней указывала налево.

Энола не сидела на замершем эскалаторе, не примостилась она и у стены прохода. Я дошел до ближайшей лестницы и остановился. Какая-то семья устроилась на ней выпить чаю. Там, куда я собирался ступить, на скатерти, вышитой по краю цветами, красовались хлеб с маслом, баночка джема, закрытая вощеной бумагой, и чайник на газовой горелке вроде той, которую мы с Лэнгби выудили из мусора. Я уставился на эти аксессуары мирного чаепития, расставленные каскадом по ступенькам.

— Я… «Марбл-Арч», — сказал я. (Еще двадцать человек были убиты обрушившимися керамическими плитками.) — Вам не следует здесь

оставаться.

— А мы имеем право! — воинственно ответил мужчина. — Ты-то кто такой, чтобы нас отсюда гнать?

Женщина, доставававшая блюдца из картонки, посмотрела на меня с испугом. Чайник свистнул.

— Это тебе нечего тут торчать! — добавил мужчина. — Проходи!

Он посторонился, и я виновато протиснулся мимо вышитой скатерти.

— Извините, — сказал я. — Мне надо найти… На платформе.

— Ты ее в жисть не отыщешь, приятель, — сказал мужчина, тыча пальцем вниз.

Я все-таки чуть было не наступил на скатерть, спустился с последней ступеньки, завернул за угол и оказался в аду.

Впрочем, нет, не в аду. Продавщицы, заложив за спину сложенные пальто, прислонялись к стенам — веселые, угрюмые, сердитые, но ничуть не похожие на проклятые души. Двое мальчишек подбрасывали шиллинг, и он скатился на рельсы. Они перегнулись через край, обсуждая, спрыгнуть за ним или нет, и полицейский крикнул, чтобы они отошли от края. Мимо прогрохотал поезд, набитый пассажирами. На

руку полицейского опустился комар, и он хотел его прихлопнуть, но промахнулся. Мальчишки захохотали. А позади них и впереди во всех направлениях под выложенными смертоносной плиткой потолками туннелей, у входов и на лестницах теснились люди, жертвы надвигающейся катастрофы. Сотни и сотни людей.

Я, спотыкаясь, вернулся на лестницу и опрокинул чашку. Чай залил скатерть.

— Я же говорил, приятель! — весело сказал мужчина. — Настоящий ад, верно? А ниже еще похлеще.

— Ад, — сказал я. — Да.

Мне ее не найти. Я посмотрел на женщину, вытиравшую скатерть полотенцем, и вдруг понял, что и ее спасти не могу. Как Энолу, как кошку, как любого и каждого из них, затерянных среди бесконечных лестниц и туннелей времени. Они же были уже сто лет как мертвы и спасению не поддавались. Видимо, исторический факультет отправил меня сюда, чтобы я уловил эту истину. Очень хорошо! Я уловил. Можно мне теперь вернуться домой?

Как бы не так, милый мальчик. Ты по-идиотски просадил свои деньги на такси, на коньяк, и наступает ночь, в которую немцы сожгли Си-

ти. (Теперь, когда уже поздно, я вспомнил все. Двадцать восемь зажигалок на крыше собора.) Лэнгби должен получить свой шанс, а ты должен усвоить самый трудный урок — и, кстати, тот, который тебе полагалось бы знать с самого начала. Спасти собор святого Павла ты не можешь.

Я вернулся на платформу и стоял у желтой линии, пока не подошел поезд. Я вытащил свой билет и держал его в руке всю дорогу до станции «Собор святого Павла». Едва я поднялся наверх, на меня, точно мелкая водяная пыль, накатили волны дыма. Собора я не увидел.

— Отлив, — сказала какая-то женщина безнадежным голосом, и я свалился в змеиный ров обмякших брезентовых шлангов. Руки мне облепила вонючая грязь, и только тогда (слишком поздно) я понял, чем был страшен отлив.

Качать воду для борьбы с огнем было неоткуда.

Дорогу мне преградил полицейский, и я беспомощно замер на месте, не зная, что сказать.

— Гражданским лицам сюда нельзя, — объяснил он. — Святой Павел в самом пекле.

Дым клубился точно грозовая туча, весь пронизанный искрами. А над ним золотился купол.

— Я из пожарной охраны, — сказал я, его ру-

ка опустилась, и минуту спустя я был уже на крыше.

Эндорфинный уровень у меня, наверное, опускался и поднимался, как вой сирены. С этой секунды моя краткосрочная память отключилась. Сохранились отдельные обрывки, не стыкующиеся между собой: в уголке нефа, когда мы снесли Лэнгби вниз, тесным кружком сидят люди и играют в карты; смерч пылающих обломков дерева под куполом; шоферша санитарной машины в туфлях без носков, как у Энолы, смазывает мои обожженные руки.

И среди всего — одно четкое воспоминание: я соскальзываю по веревке к Лэнгби и спасаю ему жизнь.

Я стоял у купола, мигая от едкого дыма. Сити пылал, и казалось, собор вот-вот займется от нестерпимого жара, рассыплется от оглушающего грохота. У северной башни Бенс-Джонс бил лопатой по зажигалке. Лэнгби стоял в опасной близости от дыры, пробитой бомбой, и смотрел на меня. У него за спиной лязгнула зажигалка. Я обернулся взять совок, а когда посмотрел снова, его там не было.

— Лэнгби! — закричал я и не услышал собственного голоса. Он провалился в дыру следом

за зажигалкой, и никто этого не заметил, кроме меня. Не помню, как я перебежал туда через всю крышу. Кажется, я крикнул, чтобы принесли веревку. У меня в руках появилась веревка, я обвязал ее вокруг пояса, отдал концы дежурным и спустился в дыру. Отблески пожара озаряли стены внутри почти до самого низа. Прямо подо мной виднелась груда сероватых обломков. Он под ними, решил я и оттолкнулся от стены. Там было так тесно, что отбрасывать мусор оказалось некуда. Я опасался нечаянно ударить его, а потому попытался перебрасывать мусор и обломки штукатурки через плечо, но там было буквально негде повернуться. Несколько жутких секунд меня мучил страх, что он вовсе не там, что вот-вот, как тогда в крипте, откроется голый пол.

А что, если он погиб, а я ползаю по нему? Мне не вынести стыда — того, что я попрал его еще не остывший труп. Но тут из обломков возникла рука, как рука призрака, и ухватила меня за щиколотку. Я вихрем повернулся и за несколько секунд высвободил его голову.

Он был белым как мел, но эта жуткая бледность меня больше не пугает.

— Я погасил бомбу, — сказал он.

Я смотрел на него, охваченный таким об-

легчением, что не мог произнести ни слова. Мгновение-другое меня душил истерический смех — так я обрадовался, что он жив. Наконец я сообразил, какие слова должен произнести:

— Вы целы?

— Да, — ответил он, пытаясь приподняться на локте. — И тем хуже для вас.

Встать ему не удалось. Едва он попробовал повернуться на правый бок, как застонал от боли и снова упал. Битая штукатурка омерзительно захрустела под ним. Я попытался осторожно приподнять его, чтобы определить, какие он получил повреждения. Несомненно, он обо что-то ударился спиной.

— Не поможет, — сказал он, хрипло дыша. — Я ее погасил.

Я растерянно взглянул на него, опасаясь, что он бредит, а потом снова попробовал повернуть его на бок.

— Я знаю, вы рассчитывали на это, — продолжал он, не сопротивляясь. Рано или поздно это должно было случиться на одной из крыш. Только я ее не упустил. Что вы скажете своим друзьям?

Его асбестовая куртка была разорвана на спине почти во всю длину. В прорехе его спина обуглилась и дымилась. Он упал на зажигалку.

— Господи! — ахнул я, отчаянно стараясь определить величину ожога, не прикасаясь к нему. Насколько глубок он был, я определить не мог, но как будто ограничивался только узкой полоской, где куртка разорвалась. Я попытался вытащить из-под него зажигалку, но она была еще совсем раскаленной. Мой песок и тело Лэнгби погасили ее. Я понятия не имел, не вспыхнет ли она снова, когда воздух получит к ней доступ. Я отчаянно крутил головой, ища ведро и насос, которые Лэнгби уронил, когда падал.

— Ищете оружие? — сказал Лэнгби таким ясным голосом, словно и не был обожжен. — Почему бы просто не бросить меня тут? Небольшое переохлаждение, и к утру мне придет конец. Или вы предпочитаете доводить грязную работу до завершения в спокойной обстановке?

Я встал и окликнул дежурных на крыше над нами. Один из них посветил вниз фонариком, но луч до нас не достал.

— Он умер? — крикнул кто-то.

— Пошлите за санитарной машиной, — крикнул я в ответ. — Его обожгло.

Я помог Лэнгби подняться, стараясь поддерживать его так, чтобы не прикасаться к ожогу. Он пошатнулся, а потом прислонился плечом к

стене, глядя, как я пытаюсь засыпать зажигалку песком, орудуя обломком доски вместо совка. Спустили веревку, и я обвязал Лэнгби под мышками. С того момента, как я помог ему встать, он молчал. А когда я затянул узел, пристально посмотрел на меня и сказал:

— Надо было бы оставить вас в крипте наглотаться газа.

Он слегка, почти небрежно опирался на стропила, поддерживаемый веревкой. Я обмотал его кисти веревкой, понимая, что у него недостанет сил ухватиться за нее.

— Я вас раскусил еще тогда на галерее. Я знал, что высоты вы не боитесь. Когда вы поняли, что я сорвал ваши драгоценные планы, вы спустились сюда без всякого страха. Так что это было? Совесть заговорила? Плюхнулись на колени и хныкали, точно ребенок: «Что мы сделали? Что мы сделали?» Меня просто затошнило. А знаете, что вас выдало еще раньше? Кошка. Всем известно, что кошки ненавидят воду. Всем, кроме грязного нацистского шпиона.

Веревку дернули.

— Поднимайте! — крикнул я, и веревка натянулась.

— А эта стерва из ЖДС? Тоже шпионка? У вас

была назначена встреча в «Марбл-Арч»? Заявить мне, что станцию разбомбят! Вы паршивый шпион, Бартоломью. Дальше некуда. Ваши друзья взорвали ее в сентябре. Ее восстановили.

Веревка натянулась струной, и Лэнгби начал подниматься. Он повернул руки, чтобы ухватиться покрепче.

— Знаете, вы допустили большую ошибку, — сказал он. — Вам следовало убить меня. Молчать я не буду.

Я стоял в темноте и ждал, когда спустят веревку. На крышу Лэнгби подняли уже без сознания. Я прошел мимо дежурных к куполу и спустился в крипту.

Утром пришло письмо от моего дядюшки с вложенной в него пятифунтовой банкнотой.

31 декабря. Двое подручных Дануорти встретили меня в Сент-Джонс-Вуде и сообщили, что я опаздываю на экзамены. Я даже не возразил, а покорно поплелся за ними, даже не подумав, что не слишком-то честно устраивать экзамены ходячему мертвецу. Я не спал уже… сколько времени? Со вчерашнего дня, когда побежал искать Энолу. Я не спал сто лет.

Дануорти был в Экзаменационном корпусе и заморгал на меня. Подручный снабдил меня

опросным листом, а другой заметил время. Я перевернул лист, и на нем остался жирный след от мази на моих ожогах. Я тупо уставился на них. Правда, я схватил было зажигалку, когда повернул Лэнгби на бок, но эти ожога были на тыльной стороне ладоней. Ответ прозвучал тут же, произнесенный неумолимым голосом Лэнгби: «Это ожога от веревок, дурак. Неужели вас, нацистских шпионов, не учат даже, как правильно спускаться по веревке?»

Я пробежал глазами вопросы.

Число зажигательных бомб, сброшенных на собор святого Павла.....

Число осколочных бомб.....

Число фугасных бомб.....

Наиболее употребительный метод гашения зажигательных бомб.....

Для ликвидации неразорвавшихся осколочных бомб.....

Неразорвавшихся фугасных бомб.....

Число добровольцев в первой смене пожарной охраны во второй смене.....

Раненые и больные.....

Потери.....

Бессмысленные вопросы! После каждого — кро-

хотный пробел, в который можно было вписать только цифры. Наиболее употребительный метод гашения зажигательных бомб. Ну как я сумею втиснуть в пробел все, что мне об этом известно? А где вопросы об Эноле? Лэнгби? Кошке?

Я подошел к столу Дануорти.

— Вчера ночью собор святого Павла чуть не сожгли, — сказал я. — Что это за вопросы?

— Вам следует отвечать на вопросы, мистер Бартоломью, а не задавать их.

— Тут нет ни единого вопроса о людях, — сказал я, и внешняя оболочка моего гнева начала плавиться.

— Но вот же они, — ответил Дануорти, переворачивая лист. — «Число раненых, больных и погибших. Тысяча девятьсот сороковой год. Взрывы, осколки, прочее».

— Прочее? — повторил я. В любую секунду на меня рухнет потолок яростным ливнем кусков штукатурки и серой пыли. — Прочее? Лэнгби погасил зажигалку собственным телом. У Эноллы насморк становится все хуже. Кошка… — Я выхватил у него лист и в узенький пробел после «Взрыв» вписал: «Кошка, 1». — Они вам безразличны?

— Они важны со статистической точки зре-

ния, — сказал он, — но индивидуальное мало что значит для общего хода истории.

Рефлексы у меня ни к черту. Но меня поразило, что и у Дануорти они заторможены. Мой кулак скользнул по его подбородку и сбил очки с носа.

— Нет, значат! — кричал я. — Они и есть история, а не эти проклятые цифры!

А вот рефлексы подручных были вполне расторможены. Я еще не успел замахнуться второй раз, как они уже подхватили меня под мышки и потащили вон из комнаты.

— Они там, в прошлом, где их некому спасти. Они не различают рук, когда подносят их к лицу, на них сыплются бомбы, а вы говорите мне, что они мало что значат? И это, по-вашему, быть историком?

Подручные вытащили меня за дверь и поволокли по коридору.

— Лэнгби спас святого Павла! Неужели человек может значить больше? Вы не историк! Вы просто, просто… — Мне хотелось назвать его самым черным словом, но вспомнил я только ругательства Лэнгби. — Вы просто грязный нацистский шпион, — завопил я. — Вы просто ленивая буржуазная стерва!

Они выкинули меня за дверь, так что я упал

на четвереньки, и захлопнули ее перед моим носом.

— Не хочу быть историком, хоть бы мне и заплатили, — закричал я и пошел посмотреть камень пожарной охраны.

31 декабря. Пишу кое-как. Руки у меня в жутком состоянии, а мальчики Дануорти тоже постарались. Время от времени заходит Киврин с видом святой Жанны д'Арк и накладывает мне на руки столько мази, что карандаш выскальзывает.

Станции «Собор святого Павла», естественно, больше не существует, а потому я вышел в Холборне и пошел пешком, думая о моей последней встрече с настоятелем Мэтьюзом утром после сожжения Сити. Сегодня утром.

— Насколько понимаю, вы спасли Лэнгби, — сказал он. — И насколько понимаю, вы вместе спасли собор вчера ночью.

Я отдал ему письмо дяди.

— Ничто не вечно, — сказал он, и меня охватил ужас, что сейчас я услышу о смерти Лэнгби. — Нам придется снова и снова спасать собор, пока Гитлер не выберет для своих бомб другую мишень.

Мне так хотелось сказать ему, что налеты на Лондон прекратятся буквально на днях. Бомбить теперь будут провинции. Через три-четыре неде-

ли начнутся налеты на Кентербери, на Бат, и мишенью неизменно будут соборы. А вы со святым Павлом дождетесь конца войны и доживете до установки камня пожарной охраны.

— Впрочем, тешу себя надеждой, — сказал он, — что худшее уже позади.

— Да, сэр. — Я вспомнил камень и надпись на нем, все еще достаточно ясную. Нет, сэр. Худшее еще не позади.

Я умудрился не сбиться с пути почти до самой вершины Ладгейт-Хилла. Но там заплутался и бродил, словно человек, заблудившийся на кладбище. Я прежде не осознавал, что развалины так похожи на серый мусор, из-под которого меня старался выкопать Лэнгби. И я нигде не мог найти камня, а под конец чуть не споткнулся о него и отпрыгнул, словно наступил на труп.

Только он и остался. В Хиросиме в самом эпицентре вроде бы уцелели кое-какие деревья. В Денвере — лестница Законодательного собрания. Но на них нет надписи: «Памяти мужчин и женщин пожарной охраны святого Павла, которые по милости Господней спасли этот собор». По милости Господней…

Камень выщерблен. Историки утверждают, что у надписи был конец: «На все времена», но

я не верю. Во всяком случае, если настоятель Мэтьюз участвовал в ее составлении. И никто из охраны, о которой в ней говорится, ни на секунду не поверил бы ничему подобному. Мы спасали собор всякий раз, когда гасили зажигалку — до той секунды, когда падала следующая. Неся дозор в наиболее опасных местах, гася небольшие возгорания песком и с помощью ножных насосов, а побольше — своими телами, чтобы не дать сгореть всему огромному зданию. Ну просто из курсовой по исторической практике за четыреста первым номером! Какой удачный момент — открыть-таки, зачем нужны историки — именно тогда, когда я выбросил в окно свой шанс стать историком, выбросил с такой же легкостью, с какой они бросили внутрь точечную гранату! Нет, сэр, худшее еще не позади.

На камне — вплавленные пятна копоти там, где, согласно легенде, молился на коленях настоятель собора, когда взорвалась граната. Чистейший апокриф, естественно, поскольку портал не место для молитв. Куда вероятнее, что это тень туриста, забредшего спросить дорогу в мюзик-холл «Уиндмилл», или отпечаток девушки, которая принесла в подарок добровольцу шерстяной шарф. Или кошки.

Ничто нельзя спасти навсегда. Настоятель Мэтьюз и я знали это, еще когда я вошел в западные двери и сощурился от сумрака. Но все равно тяжело. Стоять по колено в мусоре, из которого нельзя выкопать ни складных стульев, ни друзей, и знать, что Лэнгби умер, веря, будто я — нацистский шпион, что Энола пришла в собор, а меня там уже не было.

Невыносимо тяжело.

И все-таки не так, как могло быть. И он, и она умерли, и умер настоятель Мэтьюз, но они умерли, не зная того, что знал я с самого начала, того, что заставило меня упасть на колени в Галерее шепота, изнывая от горя и вины — что в конечном счете никто из нас не спас собор святого Павла. И Лэнгби не может обернуться ко мне, оглушенный, разбитый, и сказать: «Кто сделал это? Ваши друзья-нацисты?» И мне пришлось бы ответить: «Нет. Коммунисты». Вот что было бы хуже всего.

Пришлось вернуться к себе и подставить руки Киврин для новой порции мази. Она требует, чтобы я лег спать. Конечно, мне надо упаковать вещи и убраться отсюда. Зачем ставить себя в унизительное положение, дожидаясь, пока меня отсюда не вышвырнули? Но у меня не хватило

сил спорить с ней. Она так похожа на Энолу!

1 января. Видимо, я проспал не только всю ночь, но и доставку утренней почты. Когда я проснулся минуту назад, то увидел, что в ногах кровати сидит Киврин с конвертом в руке.

— Твои оценки пришли, — сказала она.

Я закрыл глаза рукой.

— Когда захотят, они проявляют потрясающую деловитость, верно?

— Да, — сказала Киврин.

— Что же, поглядим, — сказал я, садясь на постели. — Сколько у меня времени до того, как они явятся вышвырнуть меня вон?

Она отдала мне тоненький компьютерный конверт. Я вскрыл его по перфорации.

— Погоди, — остановила меня Киврин. — Прежде чем ты прочтешь, я хочу тебе кое-что сказать. — Она легонько провела ладонью по моим ожогам. — Ты неверно судишь об историческом факультете. Они по-настоящему хороши.

Я ждал от нее совсем другого.

— «Хороший» не тот эпитет, который я приложил бы к Дануорти, — сказал я и выдернул папиросный листок из конверта.

Выражение на лице Киврин не изменилось, даже когда я застыл с листком на коленях и она

могла прочесть напечатанные строки.

— Ну-у… — сказал я.

Листок был собственноручно подписан досточтимым Дануорти. Я получил высший балл. С отличием.

2 января. С утренней почтой пришло два конверта. Во-первых, назначение Киврин. Исторический факультет все предусматривает — даже задержал ее здесь, чтобы она меня выхаживала, даже подстраивает испытание огнем для своих выпускников.

По-моему, мне отчаянно хотелось поверить, что так оно и было: Лэнгби и Энола — нанятые актеры, кошка — умело сконструированный биоробот, из которого для заключительного эффекта изъяли механизм. И даже не потому, что мне хотелось верить, что Дануорти вовсе не так уж хорош, а потому, что тогда бы исчезла эта ноющая боль от неведения того, что было с ними дальше.

— Ты говорила, что проходила практику в Англии в тысяча четырехсотом году?

— В тысяча триста сорок девятом, — сказала она, и ее лицо потемнело от воспоминаний. — В год чумы.

— Господи! — пробормотал я. — Как они могли? Чума же — это десятка!

— У меня природный иммунитет, — ответила она и посмотрела на свои руки.

Я не знал, что сказать, и вскрыл второй конверт. Данные об Эноле. Напечатанные компьютером факты, даты, статистические данные — все обожаемые историческим факультетом цифры. Но они сказали мне то, чего я не надеялся узнать, — что насморк у нее прошел и она пережила блиц. Юный Том погиб во время тотальных бомбежек Бата, но Энола умерла только в 2006 году, не дожив всего год до того, как собор святого Павла был взорван.

Не знаю, поверил ли я этим сведениям или нет, но не в том дело. Это был просто добрый поступок, как то, что Лэнгби читал вслух газету старику. Они все предусматривают.

Впрочем, нет. Про Лэнгби они не сообщили ничего. Но сейчас, когда я пишу это, мне ясно то, что я уже знал: я спас ему жизнь. И пусть он мог умереть в больнице на следующий день. И вопреки всем суровым урокам, которые преподал мне исторический факультет, выясняется, что я все-таки не верю, будто ничто нельзя спасти навсегда. Мне кажется, что Лэнгби спасен во веки веков.

3 января. Сегодня я был у Дануорти. Не знаю,

что я собирался сказать — какую-нибудь напыщенную чушь о том, что я готов служить в пожарной охране истории, неся дозор против падающих зажигательных бомб человеческих сердец — свято храня безмолвие.

Но он близоруко замигал на меня через стол, и мне почудилось, что его слепит последний сияющий образ собора святого Павла, перед тем как собор исчез навсегда, и что он лучше кого бы то ни было знает, что спасти прошлое нельзя. И я сказал просто:

— Извините, что я разбил ваши очки, сэр.

— Вам понравился собор святого Павла? — сказал он, и как тогда, при первой встрече с Энолой, я почувствовал, что все толковал неверно, что он испытывает не грусть, а совсем иное.

— Я люблю его, сэр, — сказал я.

— Да, — сказал он. — Я тоже.

Настоятель Мэтьюз ошибается. Всю практику я боролся с памятью — только чтобы узнать, что она не враг, совсем не враг, а быть историком совсем не значит влачить священное бремя. Потому что Дануорти моргал не от рокового солнечного света в последнее утро, а вглядываясь в сумрак того первого дня, смотря сквозь величественную западную дверь собора святого Павла на то, что

подобно Лэнгби, подобно всем нам, каждому нашему мигу, живущему в нас, спасено навеки.